

Григорий Померанц

Исторические ступени духовных поисков

В 1996 году, в Швейцарии, Общество морального перевооружения отмечало свой юбилей. Среди приглашенных был Далай-лама XIV. Его спросили: в чем суть ламаизма? Он ответил (цитирую по памяти): «Главное – любовь в сердце. А метафизические теории – дело второстепенное». Мысль старая, ее можно найти в посланиях евангелиста Иоанна. С тех пор родились многие догмы; но время от времени приходит Томас Мертон, приходит Антоний Блум, и они повторяют примерно то, что сказал Далай-лама: «главное – любовь в сердце, а метафизические теории...». Любовь – это пылающая лава, а догмы – лава, ставшая камнем. Она показывает путь, по которому лился огненный поток, она сохраняет нам слова, вырвавшиеся из сердца, но огонь глубже слов. И если дойти до последних глубин религии, прожившей две, две с половиной тысячи лет, то паузы там говорят глубже слов.

Моцарта как-то спросили: что главное в его музыке? Он ответил: паузы. И я думаю, что его паузы – синоним пустыни, о которой сказала в своей лекции

Зинаида Александровна. В творческой пустыне иногда остаются несказанные слова, за которыми угадываются забытые и потерянные тексты; например, – страницы из дореволюционных учебников, еще бывших в ходу, когда я учился.

В курсах древнерусской словесности, написанных Буслаевым и Пыпиным, я находил десятки страниц, захвативших меня. Это были страницы, посвященные спору нестяжателей с осифлянами, первому диалогу в истории Древней Руси, крупнейшему событию в духовной жизни XV века. Придется объяснить, о чем там шла речь. Нил Сорский, побывав за границами Московского царства, убедился, что нигде там не дарили монастырям деревни с крепостными крестьянами, избавлявшими от труда бояр, уходивших в монастырь на покой. Игумен Волоцкого монастыря, Иосиф, оправдывал это тем, что образованные люди были необходимы для переписывания книг и т.п. Ему возражали, что византийские монастыри создавали свои книги и иконы без крепостных. Другим предметом спора было отношение к ересям. Нил Сорский, Вассиан Патрикеев и другие нестяжатели стояли за меры кротости, за переубеждение заблудших, Иосиф Волоцкий призывал Ивана III, по примеру «гишпанского кесаря», сжигать еретиков.

Великий князь стоял за нестяжателей, но уступал осифлянам, господствовавшим в церкви: он нуждался в поддержке для укрепления своей великокняжеской власти.

Авторы старых учебников, интеллигенты, принадлежавшие к новой социальной группе, возникшей неожиданно для Александра II, сочувствовали нестяжателям и помогли запоздалой канонизации Св. Нила. Тексты, которые они ввели в современный оборот, не располагали к Св. Иосифу, жестоко преследовавшему своих идейных противников. В этом сказалась роль интеллигенции.

Слово «интеллигенция», найденное Боборыкиным в средневековых архивах, сразу прилепилось к новому явлению, не то сословию, не то прослойке, которого не было и до сих пор нет в других странах. Там есть интеллектуалы, но это иная порода. Интеллигенция сложилась в России – и только в России – из сплава либерального дворянства и разночинцев. Однако этих сословий давно нет, а интеллигенция, затоптанная и исчезнувшая, родится заново. Слово «интеллигенция» было конфисковано Лениным и использовано как ярлык бесцветного слоя профессионалов, пропагандировавших идеи, рожденные из ЦК. Ленину также принадлежит известная характеристика

пережитков старой интеллигенции: «не совесть народа, а г...» В этой брани сохранилось одно из определений, которые интеллигенты когда-то себе давали: совесть народа, критически мыслящая личность и т.п.

Сегодня слово «интеллигент» используется как синоним специалиста умственного труда. Но тогда почему не использовать западный термин «интеллектуал»? Видимо, чувствуется что-то нерусское. Между тем, в ходе нынешних массовых миграций возник простой, грубый способ отделить эти два понятия. Интеллектуал, как правило, уезжает насовсем и становится американцем, немцем, израильтянином русского происхождения. А интеллигенты ездят за границу, но не уезжают. А если «рвут когти» (есть такое выражение), – чувствуют свою потерю и тоскуют. Что-то их связывает с Россией. Более того, есть чудаки, которые огорчаются, что Иосиф Волоцкий взял верх в спорах XV в. и убедил Ивана III сделать своим наследником не Ивана Молодого, сочувствовавшего нестяжателям, а Василя, сыном которого – увы! – стал Иван Васильевич...

Но даже Иван Грозный не пересек вовсе истории диалога. Оно шло взрывами, редким пунктиром. Дискуссия нестяжателей с осифлянами – первый

диалог. Второй – переписка Курбского с Иваном Грозным. Третий – спор Аввакума и его соратников с Никоном. Попытка Радищева завязать цивилизованный диалог сразу была ликвидирована. И только четвертая инициатива, спор славянофилов с западниками, сложился как постоянная форма русской мысли. Я не считаю (принимаю??) всерьез игры в просвещение при дворе Екатерины II. Это было только заглядывание в окно, пробитое Петром.

Окно в Европу стало прорывом в свободу мысли не ранее царствования Александра I, в особенности после того, как русские войска вошли в Париж и осмотрелись в Париже. Без этого не было бы декабристов и страха Николая I перед бунтом дворян и поворота ума московских кружков в глубину.

Петр несколько десятков лет калечил старую Россию, но одновременно, необдуманно, нечаянно открыл неведомый простор, где жил скрытый разум, скрытый импульс: осознать, возможно ли взять себе за образец сразу несколько стран, из которых ни одна не главная, и не сумев дойти до единства европейского духа, можно ли стать европейцами?

В терминах «Записок гадкого утенка» шли встречи птиц неведомых пород и птенцы, попробовавшие свои крылья, еще не готовы были взлететь и не совсем

понимали, куда лететь. Многоликость Европы – первая трудность европеизации. И вторая трудность: откуда взять способность сплести вместе то, что в Европе сталкивается, перекликается и в то же время не расставаясь, тысячу лет?

Родоначальник русской культуры Нового времени, Пушкин, поставил перед собой эту задачу и по-своему решил, объединив в гибких рамках маленьких трагедий несколько эпох и несколько национальных обликов. Этого сперва никто не заметил и не оценил. Но следующий шаг к той же цели захватил многих и когда николаевский лед вдруг растаял, шаг превратился в скачок, вернее – несколько скачков. Один – массовый, захвативший новорожденный слой интеллигенции, а другой – сугубо личный, неповторимый, движение от стихов Пушкина и Тютчева к прозе Толстого и Достоевского.

На поколение позже, следуя пути, прочерченному Соловьевым, складывается русская философия, но она запоздала, и Бердяев, Франк, Федотов дописывали книги в эмиграции. Развитие России от освобождения крестьян до советского зигзага напоминает взрыв, превративший расцвет в пепелище. Спасибо философскому пароходу! Те, кто на него не попал, стали мучениками русской истории. Их не только

физически растоптали. Интеллигенцию периодически топчут духовно, вешая на ее шею все преступления, совершенные безумием революции. Хотя Федотов был прав: революционеры были отступниками интеллигенции (как Софья Перовская – отступница аристократии); интеллигентами они не были и интеллигентов презирали.

Культурную традицию сохраняли только книги, молча стоявшие на полках. А люди? Люди стояли на перекрестке и сомневались, куда идти. А если теряли разум, то бодро шагали в пропасть.

Я вспоминаю три встречи с Бахтиным, в период советского топтанья на месте. Михаила Михайловича вместе с его супругой содержали тогда в богадельне, правда, в отдельной комнате. Иногда забредала какая-нибудь выжившая из ума старушка, потерявшая дорогу. Бахтин полностью сохранял ясный разум и своеобразную манеру критики. Он охотно и сочувственно обсуждал некоторые мои тексты, а один отложил в сторону и ничего о нем не хотел говорить. И я понял смысл его молчания: не тот у меня там стиль, не тот подход к вещам. И я согласился с его молчаливым приговором. Это был единственный мой контакт, – к сожалению, запоздалый, с поколением, ушедшим в прошлое.

Лет за пятнадцать или двадцать до этого я пережил контакт с другим явлением, сегодня забытым, с мимолетным «течением», продержавшимся лет пять, с 1934 по 1939 г. его вызвал к жизни приход Гитлера к власти и необходимость повернуть от классовой борьбы к единому фронту с либералами-антифашистами. Сталин сознавал, что в теории он не очень силен и предоставлял нечто вроде индульгенции от террора группе молодых интеллигентов, объединившихся вокруг Георга Лукача, бежавшего из Германии в Советский союз. Взлет «течения Лукача–Лифшица» был недолог и оборван приездом Риббентропа в Москву.

Однако вернемся к проблеме, которой «течению Лукача–Лифшица» некогда было заняться. А между тем уже в 60-е и 70-е годы XIX в. Достоевский решил вопрос, с которым мучился еще в юности и, по-видимому, как-то решал в романе «Преступление и наказание». К сожалению, Катков заставил его выкинуть целый кусок, в котором углядел «следы нигилизма». Впоследствии Достоевский нашел способ высказаться в «Легенде о Великом инквизиторе»; но в шестидесятые годы и в один из самых напряженных месяцев жизни он мог только довести до предела свою мучительную неспособность вместить разноголосицу

русских голосов в несколько строк «Игрока», переплетая мучения неудавшегося теоретика с муками отвергнутого любовника. «Я, пожалуй, и достойный человек, – говорит Алексей Иванович, – а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, а знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скорее приобрести себе приличную форму». Тут хочется перебить Алексея Ивановича и сказать, что сказанное подходит к известному русскому типу, а вовсе не ко всем русским. Через десять лет Версилов, отец Подростка говорит только о «тысяче» русских, о творческом меньшинстве, созданном русской историей. Однако продолжим речь Алексея Ивановича. «Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности всего чаще не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит». И далее: «Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша».

Последняя фраза (из гл. V «Игрока») – шестая по счету – относится к неудаче Достоевского, романе с Апполинарией Прокофьевной Суловой, а все первые пять – болезненная культурология.

Одна из причин несобранности русского ума – сплетение нескольких культур, участвующих в формировании России. Это противоречивое богатство трудно уложить в прочно сбитую форму, и герой Достоевского чувствует себя «не таким, как надо» *comme il ne faut pas*. И не потому, что он разночинец. Граф Толстой тоже чувствовал себя *comme il ne faut pas*. Первым человеком *comme il ne faut pas* можно, пожалуй, признать принца Гамлета. Но он одинок в своей трагедии, а в переломные эпохи «не такие, как надо» становятся расхожим типом и не даром Тургенев посвятил статью «Гамлеты и Донкихоты» расхожим русским типам.

Прошло десять лет; Достоевский переступил через порог своих неудач. За его плечами три из пяти всемирно известных романов. Он заканчивает четвертый – «Подросток» – и его герой, Версилов, поучает своего сына. Цитирую отрывки, разбросанные по трем страницам: «У нас сложился веками какой-то еще нигде не виденный культурный тип, которого нет в целом мире... Нас, может быть, всего тысяча человек

– может, более, может, менее, – но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут – мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало... Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться, наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет – как нигде. Я во Франции – француз, с немцем – немец, с древним греком – грек и тем самым наиболее русский». Здесь есть алогизм, который Версилов не замечает и, может быть, Достоевский не заметил: наиболее русскими стала *тысяча* человек. При этом крестьяне были вовсе неграмотны и между ними и «тысячью» росла пропасть, обнажившаяся в 1905, в 1917 г.

Попытаюсь перевести художественный образ «тысячи», возникший в сознании Достоевского, на современный язык. Это творческое меньшинство, численность которого всегда невелика и не может быть сведена ни к какой цифре и ни к какой социальной группе, попадающей в статистику. Программу этого меньшинства по-своему переписал,

сто лет спустя, Антоний Блум, выступая на конференции в Париже, в 1974 г.

«Действия Христа рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина (и всякой духовно зрелой личности, добавил бы я). Иначе это будет деятельность, основанная на принципах: нравственных, богословских или иных принципах; но сколь бы они ни были истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике (подчеркнуто мною – Г.П.), внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье. Мы христиане, призваны жить на большой глубине, жить глубокой внутренней жизнью – не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и если эта глубина позволит нам взглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и, благодаря такому созерцанию, глубокому взглядыванию, различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность – результат прошлого, накопленный

человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает «безумно»¹. Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим (то есть потоком огня – Г.П.), и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума (застывающего в своих категориях – Г.П.), как нас учит поступать Бог». (Русский перевод Е.Майданович опубликован в «Континенте» в 1996 г., № 89).

В этом замечательном тексте выстраиваются, переплетаясь друг с другом, три уровня истинности. Низший уровень – уровень застывших принципов. Например, не вступать в переговоры с террористами. Следуя этому принципу, В.В.Путин пожертвовал возможностью спасти 350 детей в Беслане. Ни один принцип не обладает неограниченной сферой истинности. Чутье показывает, в какой точке он становится нелепым и безнравственным и перестает соответствовать божественной динамике.

¹ Т.е. в соответствии с божественной динамикой, а не с застывшей лавой догм.

Следующий уровень истинности – эстетическое чутье, которое «позволяет нам взглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, в канву жизни... и различить в ней нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас». Это уровень близок к художественному чувству правоты, правоты иконы, а не догматов.

Третий уровень истинности – след Божий, повторяемый неоднократно, таинственный след, заставляет попирать любые принципы. Здесь я прихожу к тому, что на другой лад утверждала Зинаида Александровна: истинность кипящей магмы, а не застывшей лавы.